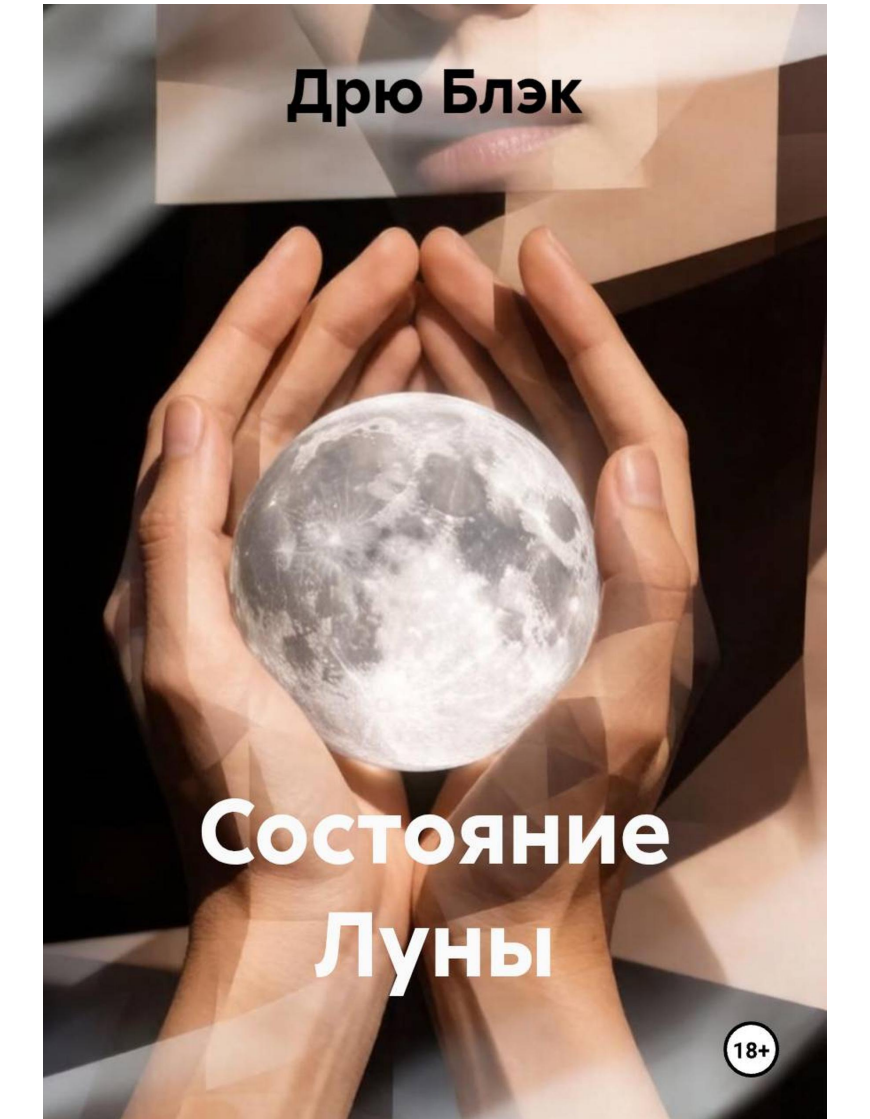


The background of the entire image is a close-up of a person's face, specifically the mouth and chin area. A complex, low-poly geometric pattern in shades of brown, tan, and grey is overlaid on the face. In the center of the image, a pair of hands is shown from the palms up, cupping a realistic, detailed image of the Earth's moon. The hands are positioned as if they are gently holding the moon. The overall composition is artistic and surreal.

Дрю Блэк

**Состояние
Луны**

18+

Дрю Блэк

Состояние Луны

<https://litres.ru/74275224>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Он построил себе мир. Очень подробный. Очень логичный. Очень красивый. А в какой-то момент этот мир перестал быть дополнением к реальности — он стал заменой».

Что, если Луна не просто камень? Что, если у неё есть память, голос и воля? Что, если она веками ждёт тех, кто умеет её слышать?

«Состояние Луны» — роман о человеке, который всю жизнь ищет ответы там, где другие видят только пустоту. О трёх взаимоотношениях с женщинами, которые он проходит — как огонь, как лёд и как резонанс. О враче, который пытается лечить то, что, возможно, лечению не поддаётся. И о древнем сознании, которое наблюдает за всем с высоты.

Это книга об одиночестве, одержимости и о том, как мы теряем себя в попытке стать для кого-то светом.

Предупреждение: книга содержит сцены употребления психоактивных веществ, откровенные эротические эпизоды. Рекомендуемый возраст 18+.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Состояние Луны

Глава

Дрю Блэк Состояние Луны

*«Несмотря на свободу воли и действия, мы удерживаемся вместе,
подобно звёздам на небесном своде, соединённые неразрывными узами.*

Эти узы незримы, но мы можем их ощущать.

Я порезал палец, и он кровоточит: этот палец — часть меня. Я вижу боль друга и эта боль ранит меня тоже: мы с другом едины.

И наблюдая поверженного врага, даже такого, о ком я сожалел бы

меньше всего во всей вселенной, я все равно испытываю скорбь.

Разве это не доказывает, что мы все лишь частица единого целого?» Никола Тесла (1856–1943) сербский физик, инженер, изобретатель

Глава 1. Осторожно. Хрупкое.



На напольных часах, циферблат которых был едва виден

в тени угла комнаты, виднелось 16:06.

Она сбежала с работы на вокзал, не предупредив никого. Она оставила своих подчинённых без управления, рискуя получить выговор, но, кажется, её это не волнует. Неожиданный звонок нагрянул громом около полудня от едва знакомого ей человека. Поездка в другой город заняла пару часов, но усталость не настигала её. По крайней мере, ей так казалось. Она пришла сюда узнать, что с ним случилось. Но хотела ли она это знать? Слегка влажные от непогоды локоны на лбу и по бокам свисают прямо перед глазами тонкими нитями. Она смотрит сквозь них, расфокусировав взгляд и готовясь к тому, что услышит. Или не услышит. Притопывая каблучками и теребя рукава своего пальто, ей хочется встать и уйти. Ведь её ничего не держит, так ведь? Пальцы рук нервно обвиваются вокруг вещи, которую она получила когда-то давно. Хрустальный шар, изготовленный специально для неё. Именно он смог вместить в обычный хрусталь, размером одной ладони, целый спутник планеты Земля. Тот, к кому она пришла, кажется, больше не желает думать о чем-то другом, кроме своей судьбы.

— Какой ужасный стул..., — думает она, — Сам-то он сидит в мягком кресле, чтобы как можно дольше проливать свои речи посетителям, убеждая их, что всё возможно, произнося свои умные врачебные термины. Он точно хочет видеть слёзы от горя, чем улыбки от счастья.

Она внимательно осматривает кабинет взглядом. Большая

комната располагалась на четвёртом этаже старого корпуса психоневрологического диспансера — здания, которое городские власти уже лет пятнадцать обещали снести, но каждый год находилась причина отложить снос ещё на двенадцать месяцев. Корпус строили в пятьдесят третьем, и строили на совесть: стены толщиной в полтора кирпича, дубовые перекрытия, лепнина на потолках, которую теперь уже никто не умеет восстанавливать. Правда, от бывшего величия осталась только эта самая лепнина — пожелтевшая, местами осыпавшаяся, с чёрными разводами в тех местах, где десятилетиями протекала крыша.

Окно в кабинете было одно. Высокое, арочное, по бокам свисали тёмные плотные шторы до самого пола, с деревянной рамой, разохшейся до такой степени, что между створками оставалась щель толщиной в палец. Через эту щель круглый год сочился холодный воздух, а зимой — ещё и мелкая ледяная крошка, которая оседала на подоконнике серым налётом. Стекло не мыли, кажется, с момента постройки здания. Оно покрылось патиной — не просто пылью, а именно патиной, той особенной субстанцией, которая возникает, когда дождевая вода смешивается с городской копотью, автомобильными выхлопами и временем. Свет, проходя через это стекло, терял всю свою жизнерадостность. Он становился мутным, желтоватым, словно разбавленным заваркой, и ложился на пол длинными косыми прямоугольниками, в которых медленно танцевали пылинки.

На подоконнике стоял горшок с фикусом. Вернее, с тем, что когда-то было фикусом. Сейчас это был скелет растения — сухой ствол, обтянутый серой корой, и три пожухлых листа на самой макушке, скрюченных, как пальцы артритной руки. Земля в горшке потрескалась и окаменела. На поверхности лежал слой сигаретного пепла — наследие эпохи, когда в кабинетах ещё курили, не спрашивая разрешения у пациентов и пожарной инспекции. Врач не стал выкидывать горшок. То ли из сентиментальности, то ли из профессионального цинизма — он говорил, что этот фикус лучше любых тестов демонстрирует пациентам, что бывает с живым организмом, если его годами лишать света и воды.

Потолок был высоким — метра три с половиной, не меньше. В центре висела люстра. Точнее, то, что осталось от люстры: бронзовый каркас на три рожка, из которых работал только один, и тот через раз. Два других рожка сиротливо торчали в стороны, лишённые плафонов и лампочек. Плафоны — матовые, с цветочным узором по краю — разбились ещё когда-то давно, когда в здании меняли проводку и рабочие задели люстру стремянкой. Осколки тогда собирали, но новые плафоны покупать не стали. Так и осталась люстра висеть одноглазым циклопом, освещающая кабинет тусклым, мертвенным светом, которого едва хватало на то, чтобы разогнать тени по углам.

Впрочем, хозяин кабинета верхний свет почти никогда не включал. Он предпочитал настольную лампу — старую, с тя-

жёлтым чугунным основанием и зелёным стеклянным абажуром. Абажур этот был особенный. Когда лампа горела, зелёный свет падал на стол ровным кругом, оставляя все остальное пространство кабинета в полумраке. Пациент, сидящий напротив, оказывался на границе света и тени — лицо освещено, тело растворено в темноте. Это создавало странный эффект: казалось, что перед врачом сидит не целый человек, а только его лицо, вырванное из контекста, лишённое тела, одежды, социального статуса. Одно лишь лицо и правда, которую оно больше не могло скрывать.

Стены кабинета были выкрашены в цвет, который в ведомственных каталогах значился как «фисташковый», но на деле давно превратился в неопределённый оттенок застоявшейся воды. Краска вздулась в нескольких местах — пузыри величиной с ладонь, под которыми угадывалась сырость и плесень. В одном углу, над дверью, расползлось тёмное пятно, напоминавшее очертаниями карту всей планеты. Его пытались закрасить, но безуспешно — пятно проступало снова и снова, как застарелая вина, которую невозможно замазать никакими словами.

На стенах висели три вещи. Во-первых, диплом в рамке — доктор окончил Первый медицинский, и с тех пор стекло на рамке ни разу не протирали. Во-вторых, календарь за позапрошлый год, листы его, кажется, не переворачивали никогда. В-третьих, черно-белая фотография в простой деревянной рамке — группа врачей на фоне этого самого корпуса.

Среди них — пожилой мужчина с усталым лицом и трубкой в зубах. Отец самого врача, тоже психиатр, отработавший в этих стенах тридцать восемь лет.

Мебель в кабинете была казённая, тяжёлая, собранная, казалось, из разных эпох и разных учреждений. Письменный стол — дубовый монстр на точёных ножках, с зелёным сукном, протёртым на локтях до дыр. Ящики стола открывались с усилием, издавая звук, похожий на старческий кашель. Стул для посетителей — венский, гнутый, с продавленным сиденьем, которое проминалось ровно в том месте, где поколения пациентов и посетителей ёрзали, пытаясь подобрать слова для своих бед. Шкаф у стены — застеклённый, с медицинскими картами, набитыми так плотно, что некоторые папки торчали вверх корешками, как надгробные плиты на заброшенном кладбище. Кушетка в углу — обитая дерматином, который когда-то был бордовым, а теперь выцвел до неопределённого болотного оттенка. На кушетке лежала подушка в наволочке со штампом и плед — колючий, верблюжий, пахнувший нафталином и чужими тревогами.

Запах в кабинете стоял особенный. Он складывался из множества слоёв, как геологический разрез. Базовый слой — запах старого дерева и книжной пыли. На него наслаивался запах лекарств — не острый, аптечный, а приглушённый, въевшийся в стены за десятилетия. Ещё выше — запах хлорки из коридора, который просачивался под дверь каждое утро после влажной уборки. И где-то на самом верху, ед-

ва уловимый — запах табака, который уже восемь лет как не курили в этих стенах, но который все ещё жил в порах дерева, в волокнах ковра, в страницах книг.

На полу лежал небольшой ковёр. Вернее, то, что от него осталось. Когда-то он был красным, с восточным орнаментом по краям. Теперь орнамент угадывался только в углах, куда не ступала нога посетителей. Центральная часть ковра вытерлась до основы — серой, жесткой, похожей на мешковину. По этому серому полю проходила цепочка следов: от двери к столу, от стола к кушетке, от кушетки обратно к двери. Тысячи шагов. Тысячи судеб, прошедших по этому маршруту в надежде, что здесь им станет чуть легче.

На столе, помимо лампы, стояла пепельница. Тяжёлая, из зелёного стекла, с выемками для сигарет по краям. Она была безупречно чистой. Психиатр не курил. Он говорил себе: «Если я хочу прожить чуть больше, пора завязывать». Но пепельницу не убрал. Она стояла на столе как памятник другой жизни, другому времени, другому себе. Иногда, в особенно трудные минуты, он брал её в руки, вертел, смотрел на свет сквозь зелёное стекло и думал о том, как легко было бы сорваться — просто достать из ящика стола пачку, которую он держал там «для особых случаев», и закурить. Но он не срывался. Пепельница оставалась чистой.

В кабинете было тихо. Но это была не настоящая тишина. В старых зданиях никогда не бывает настоящей тишины. Где-то в стене гудели трубы отопления — низко, утробно, на

границ слышимости. В коридоре время от времени раздавались шаги — мягкие, шаркающие, это санитары вели кого-то на процедуры. За окном, далеко внизу, проезжали трамваи, и их дребезжание поднималось по стене, проникало сквозь щели в раме и оседало в кабинете тонкой вибрацией. Иногда где-то наверху, этажом выше, раздавался крик — короткий, сдавленный, сразу же обрывающийся. К этому здесь привыкли. На это перестали обращать внимание.

Ей не нравится этот кабинет, этот стул, на котором сидит — твёрдый, скрипучий, из старой высохшей древесины. Эти зелёные обои, от которых клонит в сон. Эта старая лампа, подсвечивающая желтые листы бумаги, исписанные непонятными закорючками. Сразу понятно, что это почерк врача. Но самое ужасное — это напольные часы, скрывающиеся в тени дальнего угла. Они еле слышно отбивают секунды, что кажется, время идёт все медленнее и медленнее, а сердце бьётся быстрее и быстрее.

Через грязное окно виднеется затянутое рыхлое серое небо. И кажется, что солнце куда-то эвакуировали по неотложной программе утилизации небесных тел. Дождя нет, но в воздухе висит туманная мокрая стена, оседающая на лице липкой плёнкой.

Она взглянула на правую руку, на часы, ещё раз, и где-то далеко снова возникло желание встать и уйти. Она перевела взгляд на шар.

Дверь кабинета резко открылась.

Кайн Торн вошёл в кабинет ровно в 16:16.

Конечно он задержался, ведь на планёрке, где заведующая отделением, похожая на большую усталую птицу, монотонно зачитывала сводку происшествий. Один пациент чуть было не разбил окно в столовой. Другой пытался передать записку на волю через голубя, которого предварительно поймал во время прогулки. Третий — его пациент — всю ночь не спал, сидел на кровати в позе лотоса и чертил пальцем по стене траекторию полёта к Луне. Санитары пытались уложить его — он не сопротивлялся, но через пять минут снова садился и продолжал чертить. «Спокойный, — сказала заведующая, глядя на Кайна поверх очков. — Слишком спокойный. Такие меня пугают больше буйных. Он весь ваш. Его зовут Андориан Ривен. Его привезли из городской больницы. Пару дней назад вы должны были изучить его дело, так ведь? Разбирайтесь.».

Он вошёл, плотно прикрыл за собой дверь, отсекая гул коридора, и первым делом — ещё до того, как усесться в своё кресло, — остановился за плечом у женщины, которая, кажется, не заметила его присутствия. Что-то было не так. Он почувствовал это сразу, кожей, той самой профессиональной паранойей, которая вырабатывается за годы работы с людьми, чей внутренний мир не совпадает с внешним.

Торн обратил внимание на шар в руках. Размером с большое яблоко. Внутри — Луна. Не рисунок, не наклейка, а объёмное изображение, выполненное в технике лазерной грави-

ровки: серый шар с кратерами, морями, горными цепями, подвешенный в самой сердцевине хрусталя, как насекомое в янтаре. Шар поймал скудный свет из окна и теперь мягко светился изнутри, отбрасывая на платье девушки крошечные радужные зайчики.

Кайн Торн замер. Он вытянул руку, но пальцы, уже тянувшиеся к шару, опустились. Он стоял и смотрел на шар, и в груди у него медленно, как поднимающееся тесто, росло раздражение. Нет, даже не раздражение — гнев. Холодный, профессиональный гнев врача, которому кто-то посторонний залез в операционную грязными руками. Он знал, к кому пришёл этот посетитель. Знал ещё до того, как спросил бы об этом сам.

Анна сидела на венском стуле, выпрямив спину, и держала шар обеими руками — так держат птенца, выпавшего из гнезда. Бережно. Отчаянно. С пониманием, что одно неверное движение — и все.

Кайн не двигался. Он застыл за спиной — высокий, сутуловатый, в мятом белом халате, из кармана которого торчал уголок толстой папки с историей болезни Ривена, — и чувствовал, как внутри медленно, неотвратимо поднимается волна глухого, профессионального гнева. Не ярости. Именно гнева — холодного, усталого, того самого, который приходит не когда тебя разозлили, а когда ты понимаешь, что в битву, которую ты хочешь вступить, возможно, уже проиграна.

Он сделал несколько шагов вперед. Щелчки каблука его

туфель о пол прозвучали в тишине кабинета как выстрелы.

Анна вздрогнула, но головы не подняла. Она продолжала смотреть на шар. На Луну. На его Луну.

Кайн медленно прошёл к столу. Не сел — остался стоять, нависая над ней, и тень от его фигуры упала на шар, на мгновение погасив радужные зайчики. Луна внутри потемнела. Анна подняла глаза.

Они смотрели друг на друга. Врач и женщина, которая не была женой. Которая не была родственницей. Которая вообще никем не была с точки зрения больничных бумаг — просто «знакомая», просто «посетительница», просто ещё одно имя в журнале на посту охраны.

Она подняла голову ещё выше, распрямляя плечи. Ей было чуть за тридцать. Бледное лицо, карие радужки глаз, окружённые серым сиянием, под глазами легко нанесены тени, бордовая помада, тёмные волосы, убранные в небрежный пучок, из которого выбились пряди. Одета в пальто — хорошее, шерстяное, но видно, что его надевали второпях: воротник поднят неравномерно, пуговица на левом рукаве пришита чёрной ниткой, хотя остальные держатся на серых. Она смотрела на Кайна с тем особенным выражением, которое он научился распознавать за годы работы — смесь надежды, страха и отчаянной решимости. Так смотрят люди, которые пришли просить о чем-то, что уже сто раз просили у других и сто раз получали отказ.

Кайн устремился к креслу, положил папку с историей бо-

лезни Ривена на край — подальше от шара, как будто эти два предмета не должны были соприкасаться. Разместился удобнее, ёрзая спиной. Оно скрипнуло под ним — старый дерматин, старая пружина.

Несколько секунд он просто смотрел на женщину. Она смотрела на него.

— Вы, полагаю, не записаны на приём, — сказал Кайн наконец. Голос его прозвучал ровно, почти лениво, но в нем слышалась та особая нота, которая появляется у врача, обнаружившего постороннего в своём кабинете. Не враждебность. Скорее — профессиональное любопытство.

— Нет, — ответила она. Голос тихий, но не робкий. — Я не записана.

Я просто... я ждала вас.

— В моем кабинете.

— Дверь была открыта. Я подумала... — Она замолчала, подбирая слова. — Я подумала, что разговор, который мне предстоит, лучше вести не в коридоре.

Кайн чуть приподнял бровь. Аргумент был, надо признать, разумным. Коридоры психоневрологического отделения — не место для личных разговоров. Там всегда кто-то идёт, кто-то кричит, кто-то смеётся невпопад, кто-то просто стоит у стены и смотрит в одну точку уже третий час.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Анна. Анна Муллис.

— И что привело вас в мой кабинет, Анна Муллис? Поми-

мо открытой двери и нежелания разговаривать в коридоре.

Она помолчала. Опустила взгляд на шар в своих руках, провела пальцем по его гладкой поверхности. Луна внутри чуть качнулась — или это просто игра света.

— Андориан Ривен, — сказала она. — Я знаю, что он здесь. Я знаю, что его перевели к вам несколько дней назад. Я... — Она подняла глаза. — Я пришла к нему.

Кайн наклонился чуть вперёд. Снял очки, начал противрывать их краем халата — привычка, которая помогала ему думать.

— Вы родственница? — спросил он, хотя уже знал ответ. В карте

Ривена, которую он успел пролистать перед планёркой, в графе «Семейное положение» стояло: разведён. Ближайшие родственники: мать, отец, сестра проживают в другом городе, контакт не поддерживается.

— Нет, — сказала Анна. — Я не родственница. Я... — Она запнулась. Сделав долгий вдох через рот, продолжила. — Я даже не знаю, как это назвать. Мы знали друг друга не так давно. — Она говорила отрывисто, проглатывая слова, будто боялась, что её перебыют. — Познакомились на одном космическом форуме. Он — астрофизик. Представлял свою научную работу. А я занимаюсь телескопами. Там собираются... разные люди. Астрономы-любители, инженеры, просто те, кто смотрит на небо и не может оторваться. Я зашла туда случайно — искала информацию по настройке одного

старого телескопа, который нам в обсерваторию передали. А он... он был там как дома. Общался со всеми, кто подходил к нему. Он писал длинные статьи о лунной геологии, о минералогии и ископаемых, о перспективах строительства баз в лунных кратерах. И люди читали. Много людей. Потому что он писал не как учёный, который хочет показать, какой он умный. Он писал как человек, который... любит. Понимаете? Там и познакомились. Я спросила его, где можно найти техническую информацию, а он глупо пошутил — на обратной стороне Луны. Мы разговорились, и он пригласил меня в обсерваторию, где работал сам. Его университет владеет лучшим оборудованием. Я не могла отказать. Затем мы... мы дружили. До того, как все началось. — Она запнулась на последнем слове, и Кайн заметил это.

Кайн надел очки и посмотрел на неё внимательнее. Дружили. Прошедшее время. Она сама не заметила, как употребила его. Он слушал, не перебивая. Его пальцы лежали на папке, где крупными буквами было написано «Андориан Ривен. № 1408». Он смотрел на Анну и видел, как меняется её лицо, когда она говорит об Андориане. Оно становилось другим — мягче, моложе, как будто на несколько секунд с него сходила та усталость, которая поселилась там надолго.

— Он был... странным? — спросил Кайн осторожно. — Уже тогда?

— Нет. Не странным. Может быть для кого-то, да. Просто... другим. Он мог посреди разговора замолчать и смот-

реть в окно, а потом сказать: «Знаешь, сейчас Луна в первой четверти, и терминатор проходит как раз по Морю Дождей. Там самые красивые тени». И это не было сумасшествием. Это было... увлечённостью. Глубокой. Настоящей. Он жил этим. Но он жил и здесь, на Земле. Он смеялся над дурацкими шутками, пил кофе, ругался на пробки, платил налоги. Просто у него была вторая жизнь. Там. — Она кивнула на окно, за которым в сером небе угадывалось что-то, чего не было видно. — И меня это не пугало. Меня это... восхищало. Человек, у которого есть свой мир. Кто из нас может таким похвастаться?

Кайн кивнул. Он понимал, о чем она говорит. Он видел таких людей — тех, у кого внутри была вселенная, и до поры до времени эта вселенная мирно уживалась с внешним миром. А потом что-то ломалось. Какой-то тумблер. Какой-то предохранитель. И вселенная начинала расширяться, поглощая все остальное.

— А теперь? — спросил он. — Теперь вы кто?

Анна долго молчала. Потом посмотрела на шар, на Луну внутри, и сказала тихо:

— Теперь я человек, который хочет передать ему это. — Она чуть приподняла шар. — И уйти.

Кайн перевел взгляд на шар. На Луну. На кратеры и моря, застывшие в хрустале.

— И что это? — спросил он, хотя уже понял.

— Это Луна, — ответила Анна. — Её Луна. Она была

подарена Андорианом мне, но сейчас ему будет нужнее. Мне так кажется. Он сделал такой шар по точным снимкам. Настоящий рельеф, настоящие кратеры, все соответствует картам. — Её голос стал чуть тверже, как будто она повторяла эти слова про себя много раз, готовясь к разговору. — Я хотела подарить ему точные снимки других планет Солнечной системы на день рождения, чтобы он мог сделать целую коллекцию. Но... не успела.

Кайн смотрел на шар, и в голове у него складывалась картина. Женщина, которая не жена. Не родственница. «Просто знакомая», как напишут в журнале посещений. Женщина, которая притащила хрустальную Луну за несколько сотен километров отсюда и теперь сидит в кабинете психиатра, не зная, разрешат ли ей даже увидеть того, кто создал этот шар.

— Анна, — сказал он медленно. — Вы понимаете, куда вы пришли?

Она подняла на него глаза.

— Понимаю. Психоневрологический диспансер. Отделение острых состояний. Четвёртый этаж. Ваша фамилия Торн, я узнала у медсестры на посту. Вы лечащий врач Андориана.

— Хорошо, — кивнул Кайн. — Тогда скажите мне вот что. Вы знаете, почему он здесь?

Анна снова опустила взгляд. Ее пальцы сжали шар чуть сильнее.

— Знаю. Мне позвонил и рассказал его коллега. В общих

чертах. Инцидент прямо дома. Он... он пытался что-то сделать с собой. Но не потому, что хотел умереть. А потому что...

Она не договорила. Кайн договорил за нее.

— Потому что хотел проверить, жил ли он на самом деле. Я читал карту.

Тишина. В коридоре за дверью слышались шаги — мягкие, шаркающие. Кого-то вели на процедуры. Шаги затихли вдали.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь я расскажу вам, что написано здесь.

Он открыл папку. Перелистнул несколько страниц — заключения, анализы, графики. Остановился на развороте, где красными чернилами были подведены итоги первичного осмотра.

— Андориан Ривен, тридцать четыре года, — начал он читать, но не механически, а пересказывая суть, как переводчик с медицинского на человеческий. — Поступил в городскую больницу шесть дней назад после инцидента. Его нашёл случайный водитель, проезжавший мимо. Позже он сообщит полиции, что свернул с трассы без причины — просто увидел свет в окнах на холме и почувствовал, что должен остановиться. Дверь была не заперта. Он вошёл и обнаружил его на полу ванной в позе, которую санитары потом описали как «поза эмбриона в невесомости». Рядом лежал скальпель. Не кухонный нож, не лезвие — хирургический скаль-

пель, который он, судя по всему, заказал через интернет. На левом предплечье — неглубокий надрез. Крови было много, но рана не опасная.

Когда его спросили, зачем он это сделал, он ответил дословно...

Кайн нашёл нужную строку в карте и зачитал:

— «Я не причинял себе вреда. Я проводил эксперимент по изучению самого себя. Кровь — такая же жидкость, как вода или топливо. Я должен был знать, есть ли внутри меня хоть что-то живое. И узнал. Там только я».

Он закрыл папку и посмотрел на Анну. Она сидела, сжав руки в замок, и смотрела на него расширенными глазами.

— Дальше — больше, — продолжил Кайн. — При первичном осмотре в городской больнице он был спокоен. Слишком спокоен для человека, который только что порезал себе руку. На вопросы отвечал охотно, но все его ответы касались только одной темы. Луна. Когда его спросили, какое сегодня число, он назвал правильную дату, но добавил: «По земному календарю. По лунному сейчас день сто девяносто первый с момента начала подготовки». Когда его спросили, кто он по профессии, он ответил: «Астрофизик. Временно находящийся на Земле по техническим причинам».

Кайн откинулся на спинку кресла. Снял очки, потер переносицу.

— Его перевели к нам шесть дней назад, — сказал он. — С предварительным диагнозом... — Он заглянул в карту. —

Шизофрения, параноидная форма. Под вопросом.

Кайн мысленно повторил эти два слова. Они звучали в его голове чаще, чем он хотел бы признать. В учебниках всё было ясно: бредовая структура, потеря критики, уход в фантазийный мир. Но здесь — он чувствовал это нутром — что-то не укладывалось в схему. Ривен не был хаотичен. Его бред — если это был бред — был логичнее и прекраснее, чем реальность большинства здоровых людей. И это пугало. Потому что одно дело лечить безумие. Другое — лечить то, что, возможно, безумием не является.

Он не сказал этого Анне. Она ждала ответа. Он продолжил — уже вслух, уже врачебным голосом:

— Потому что для точного диагноза нужно наблюдение. Нужно время. Нужно понять, что именно с ним происходит.

Анна молчала. Ее лицо побледнело ещё сильнее, но она держалась. Кайн видел, как она держится — за края стула, за собственные колени, за воздух, за что-то невидимое внутри себя.

Кайн также долго молчал. Он смотрел на папку, на красные пометки, на сухие медицинские формулировки, которые описывали симптомы, но не описывали человека.

— Доктор Торн, — сказала она наконец, и голос её прозвучал глухо, как будто из-под воды. — А что на самом деле с ним происходит? Не по учебнику. Не для карты. Как вы видите эту ситуацию?

Он резко встал, подошёл к Анне и взял, почти выхватыва-

вая, хрустальный шар — довольно тяжёлый, но удобно лежащий в руке — и начал медленно вращать его в пальцах.

— Я вижу, — сказал он медленно, — человека, который построил себе мир. Очень подробный. Очень логичный. Очень красивый, наверное. И в какой-то момент этот мир перестал быть дополнением к реальности.

Он стал заменой. Андориан не просто верит, что он астронавт. Он ЖИВЁТ на Луне. Его сознание полностью переместилось туда. Сюда, на Землю, поступают только... сигналы. Команды. Действия, необходимые для поддержания биологического тела. Все остальное — там.

Доктор Кайн сделал паузу, ожидая какого ответа, но его не последовало.

— С точки зрения психиатрии, — Торн взвесил это слово и продолжил Торн, но не поднимая глаз на Анну. Краем глаза он видел, она глубоко опустила голову, — это называется диссоциацией. Распадом связи с реальностью. — Кайн на мгновение замолчал.

«Распад связи с реальностью. Чья реальность? Наша? Его? Кто решил, что наша реальность — единственно верная?»

Он отогнал эту мысль. Опасная территория. Студент-первокурсник мог бы позволить себе такие рассуждения. Но он — практикующий врач. Он должен держаться фактов.

— Его случай осложнён тем, что его «другая реальность» не хаотична, не бредова, не населена чудовищами. Она

структурирована. Она опирается на реальные научные данные. Он действительно знает о Луне больше, чем девяносто девять процентов людей на этой планете. И это делает его случай... особенным. Трудным. Потому что он не безумен в бытовом смысле. Он просто... ушел.

«Ушёл. Не сломался. Не разрушился. Ушёл. Как уходят из комнаты, в которой душно. Как уходят из дома, который перестал быть домом. Можно ли лечить человека за то, что он нашёл дверь, которую мы не видим?»

Анна медленно подняла голову и кивнула. Она смотрела на мерцающий хрустальный шар в руках Кайна, затем перевела взгляд на лицо врача, и в его глазах стояло что-то, чего он не мог до конца расшифровать. Не жалость. Не страх. Что-то другое.

— Значит, вы не можете его вернуть, — сказала она тихо. Это был не вопрос.

— Я не знаю, — честно ответил Кайн. — Я не знаю, можно ли его вернуть. Я не знаю, НУЖНО ли его возвращать. Потому что, Анна... — Он неловко отдал ей шар и посмотрел прямо в глаза. Он молчал почти минуту. Анна не торопилась. Она сидела, выпрямив спину, сжимая кончиками пальцев хрустальный шар, и ждала. Она умела ждать. Это было видно по тому, как она смотрела — не в пустоту, а в него, в Кайна Торна, с тем особым терпением, которое даётся только людям, привыкшим годами наблюдать за медленным движением звёзд в телескоп.

Наконец он заговорил. Медленно, глухо, как будто вытаскивая слова из очень глубокого колодца.

— Знаете, Анна, когда я учился на первом курсе медицинского, у нас был старый профессор. Вайншток. Ему было под восемьдесят, он читал лекции по общей психопатологии и курил прямо в аудитории, потому что никто не смел сделать ему замечание. И вот однажды он сказал нам, зелёным студентам, фразу, которую я запомнил, мне так кажется, на всю жизнь. Он сказал: «Коллеги, запомните. Вылечить можно только того, кто хочет вылечиться. Все остальные — не ваши пациенты. Они — ваши гости. И ваша задача — не выгнать их из собственного мира, а сделать так, чтобы им в этом мире было не больно».

Кайн снял очки, положил их на стол стёклами вниз. Потёр переносицу — медленно, устало, как человек, который делал это движение тысячи раз и сделает ещё столько же.

— Я вспоминаю эту фразу каждый раз, когда ко мне попадает такой пациент, как Андориан. Пациент, который не хочет возвращаться. Не потому что он упрямый. Не потому что он не понимает, что болен. А потому что там, куда он ушёл, ему лучше. Понимаете? Лучше. Там есть смысл. Там есть цель. Там есть дом. А здесь...

Он обвёл рукой кабинет — облупленные стены, мёртвый фикус на подоконнике, пыльное окно, за которым висело серое, бесформенное небо.

Тишина. Капли дождя застучали по отливу. В коридоре

кто-то прошёл — шаги мягкие, шаркающие, потом стихли.

— Когда мы познакомились на форуме, — сказала Анна вдруг, — он сказал мне одну вещь. Я запомнила её. Он сказал: «Знаешь, почему среди всех космических тел, которые я изучаю, больше всех люблю именно Луну? Потому что она всегда там, наверху. Она — единственный спутник нашей планеты, без которого не было бы нашего мира. Даже когда ее не видно. Даже когда облака. Даже когда день. Она нигде не уходит. Она всегда рядом. Она просто ждёт, когда ты снова посмотришь вверх. В телескопе я могу разглядеть каждый её кратер, каждую гору. Она не боится показать мне себя такой, какая она есть». — Анна перевела дыхание. — Может быть, доктор Торн, он просто устал ждать, когда мы посмотрим вверх. И решил пойти туда сам, в одиночку.

Кайн ничего не ответил. Он сидел и смотрел на женщину, которая пришла в психиатрическую больницу к человеку, с которым познакомилась на космическом форуме, и говорила о нем так, как говорят не о больных — о путешественниках.

— Вы знаете, — сказал Кайн, глядя не на Анну, а на шар в её руках, — что я не могу просто взять и отдать ему это? Есть протокол. Есть правила. Пациентам в остром состоянии не передают личные вещи без проверки. А это... — Он кивнул на шар. — Это не просто личная вещь. Это прямой билет в его... состояние.

— Я знаю, — сказала Анна. — Я понимаю. Но я все равно прошу вас.

Она положила шар на стол. Аккуратно, как кладут что-то хрупкое и бесконечно ценное. Шар коснулся зелёного сукна, и радужные зайчики заплясали по папке с историей болезни Ривена, по рукам Кайна, по старой пепельнице из зелёного стекла.

— Доктор Торн, — сказала Анна, и её голос впервые дрогнул понастоящему. — Я не знаю, что с ним будет дальше. Я не знаю, вылечится он или останется таким навсегда. Я не врач. Я просто инженер. Я умею чинить телескопы, а не людей. — Она помолчала, провела пальцем по краю шара, и продолжила тише: — Хотя иногда мне кажется, что это почти одно и то же. У людей тоже есть оптика. Линзы. Фокус. Просто у них всё спрятано глубже, под слоем кожи и привычек. И винта нужного нет ни в одном каталоге. Я искала. — Она опять взяла шар в ладони, подняла их на уровне глаз. — Когда он смотрит на Луну, он спокоен. Понастоящему спокоен. Не так, как здесь, в этих стенах, под этими лампами, с этими таблетками. Он там... дома.

Кайн долго молчал. Он смотрел на шар. На Луну внутри. На кратер Тихо с его центральной горкой — той самой, о которой Ривен, судя по карте, говорил медсёстрам в первый час после поступления.

Потом он перевел взгляд на Анну. На её бледное лицо. На тени под глазами. На криво пришитую пуговицу. На пальцы, которые все ещё тянулись к шару, как будто она не могла с ним расстаться.

— Вы сказали, что проводили время вместе, — сказал он наконец. — Навещали друг друга. Вы сказали, что работаете с телескопами. А он был астрофизиком. Потом вы сблизились до уровня «дружба». Это все? Или было что-то ещё? — произнёс он это довольно грубо, даже жёстче, чем хотел.

Анна отвела взгляд. Её руки опустились на колени, чуть сжали хрусталь, потом снова разжалась.

— А что должно быть ещё? — не скрывая злости и произнося слова сквозь зубы, прошипела она.

— Анна.. — Кайну не понравился её тон. Он смотрел на неё исподлобья сквозь линзы очков. — Всё это необходимо для полноты картины заболевания и не более.

— Да, я приезжала к Андориану. — сдавшись и провалившись внутрь себя, ответила Анна. — Иногда и он ко мне. Знаю, что он развёлся с женой спустя месяц после нашего знакомства, — сказала она тихо. — Однажды мне удалось увидеться с ней. Она сказала, что не выдержала. Говорила, что он смотрит сквозь нее. Что-то в нём изменилось, она не стала разбираться и ушла. А я... я появилась. — Пауза, наполненная тишиной. — Не потому, что надеялась на что-то. Просто... мне нравилось наблюдать. Кто-то должен был смотреть, как он погружен в работу. Чтобы он мог с кем-то говорить.

Кайн почувствовал, как что-то сжалось у него в груди. Он знал это чувство. Он видел его сотни раз — у жён, мужей, матерей, детей. У тех, кто оставался на берегу и смотрел, как

корабль уходит в море без них. Но здесь было что-то другое. Эта женщина не просто стояла на берегу. Она, кажется, понимала, почему корабль отправился без неё. И не пыталась его удержать. Только хотела дать ему карту.

— Анна Муллис, — сказал Кайн, и его голос прозвучал иначе. Мягче. Усталее. — Я работаю здесь не так давно, четыре года. И за эти четыре года я усвоил одно правило. Оно не из учебников. Оно не из протоколов. Оно просто... есть. И это правило — честность ко всему. Я честен с вами? А вы?

Лицо Анны изменилось до неузнаваемости. Она не могла рассказать подробностей. Точно не сейчас. Она слишком устала. Но и открыто врать, подводить врача ей не было никакого смысла. Задёрнув голову вверх и сильно сжав веки, уже разводя губы, чтобы сказать хоть слово, Кайн сел в кресло. Он взял шар со стола. Поднёс к свету. Луна внутри вспыхнула, и на мгновение ему показалось, что он чувствует её холод — далёкий, неземной, зовущий.

Торн опустил шар в ящик стола — туда, где лежала старая пачка сигарет «для особых случаев» и фотография, которую он никому не показывал.

— Я отдам ему это, — сказал он, закрывая ящик. — Возможно, сегодня вечером. Возможно, завтра. Возможно, никогда. Но будут введены особые условия.

Анна открыла глаза. В них стояли слезы — не текущие, а застывшие, как будто она давно разучилась плакать и теперь слезы просто жили в ней, ожидая разрешения выйти.

Он снова посмотрел на неё — долго, изучающе. Что-то не давало ему покоя. Какая-то деталь, ускользающая, как тень на периферии зрения. Он чувствовал её присутствие — невидимую, но весомую, как тёмная материя, которая держит галактики, оставаясь незамеченной.

— Анна, — сказал он наконец, и его голос прозвучал иначе. Не как у врача, зачитывающего историю болезни. Как у человека, который собирается задать вопрос, меняющий всё. — Вы хотите увидеть его?

Она вздрогнула. Едва заметно, но Кайн увидел — дрогнули плечи, дрогнули ресницы, дрогнуло что-то в самой глубине её глаз.

— Нет..., — ответила она. Голос тихий, почти шёпот. — Да... Очень.

И в этом «очень» было столько всего, что Кайн на мгновение отвёл взгляд. Не из слабости. Из уважения. Так отводят глаза, когда видят что-то слишком личное, слишком обнажённое, слишком настоящее.

— Хорошо. Тогда слушайте меня внимательно. Я разрешу вам встречу с ним. Но при трёх условиях. И если вы не примете хотя бы одно из них — разговора не будет. Вы уйдёте отсюда и вернётесь только тогда, когда будете готовы принять все три. Это понятно?

Анна кивнула. Медленно, торжественно, как будто принимала присягу.

— Первое. — Кайн загнул палец. — Вы должны понять

и принять: Андориан может вас не узнать. Не в том смысле, что забудет имя или перепутает с кем-то другим. А в том смысле, что для него вы можете оказаться... никем. Пустым местом. Человеком, которого он видит впервые в жизни. Это называется ретроградной амнезией. Его сознание сейчас там, Анна. На Луне. И всё, что не относится к его миссии, его мозг может просто... стереть. Как ненужный файл. Как помехи в канале связи. Вы готовы к тому, что он посмотрит сквозь вас и удивлённо спросит: «Мы знакомы?»?

Анна молчала. Её пальцы на коленях побелели — она сжала их так сильно, что, казалось, ещё немного, и хрустнут костяшки.

— Я готова, — сказала она наконец. Голос был ровным, но Кайн слышал, чего ей стоил этот ровный голос. — Я думала об этом. Те последние полгода, что мы не виделись, я каждую ночь представляла, как прихожу к нему, а он смотрит, как мне кажется, мимо. Либо видит меня насквозь, либо вообще не замечает. Я готова.

Кайн кивнул. Он верил ей. В этом — верил.

— Второе. — Он загнул второй палец. — Вы должны быть честны со мной. Полностью. Абсолютно. Я не спрашиваю вас о том, что не касается его лечения. Но всё, что касается, — вы рассказываете мне. Без утайки. Без «я не помню». Без «это не важно». Потому что, Анна, в моей работе неважных деталей не бывает. Иногда одна фраза, одно воспоминание, одно имя могут объяснить то, что не объясняют никакие ана-

лизы. Вы понимаете?

Анна подняла на него глаза. В них что-то мелькнуло — быстро, как тень облака по лунной поверхности. И пропало. — Понимаю, — сказала она. — Я буду честна.

Кайн смотрел на неё долго, изучающе. Он не верил ей. Не в этом. Он видел, как она отвела взгляд на долю секунды раньше, чем сказала «понимаю». Видел, как её пальцы чуть разжались, а потом сжались снова — жест, который люди делают, когда собираются солгать или умолчать.

Но он ничего не сказал. Пока.

— Третье. — Он загнул третий палец. — Встречи будут не чаще одного раза в две недели. И точно не сегодня.

Анна дёрнулась, как от удара.

— Почему? — вырвалось у неё. — Почему не сегодня? Я не видела его полгода. Я приехала на поезде, оставив все свои дела. Я...

— Именно поэтому, — перебил её Кайн жёстко. — Именно потому, что вы ждали полгода и приехали в город. Вы сейчас на взводе, Анна. Вы — оголённый нерв. Вы войдёте в палату, увидите его, и вас прорвёт. Слезами. Словами. Объятиями. Чем-нибудь ещё. Вы попытаетесь достучаться, напомним, вернуть. А он к этому не готов. И вы к этому не готовы. Вам нужно время. Остыть. Подумать. Принять то, что я сказал в первом условии, не на словах, а вот здесь. — Он постучал пальцем по груди, там, где у человека бьётся сердце. — Две недели. Это минимум.

Анна опустила голову. Её плечи опали — не резко, а медленно, как сдувается воздушный шарик.

— Хорошо, — сказала она глухо. — Две недели. Я подожду.

Кайн откинулся на спинку кресла. Снял очки, потёр переносицу. Он выдохнул. Самая трудная часть разговора была позади.

— Оставьте ваш номер, — сказал Кайн, пододвигая к ней через стол чистый листок бумаги и ручку. Голос его звучал устало, но мягче, чем прежде. — Настоящий. Тот, по которому я смогу дозвониться в любое время. Если что-то изменится — я позвоню. Если ему станет хуже — я позвоню. Если он спросит о вас — я позвоню.

Анна взяла ручку. Пальцы у неё дрожали — едва заметно, но Кайн видел. Она написала цифры медленно, старательно, как школьница на контрольной, и пододвинула листок обратно.

— Спасибо, доктор Торн, — сказала она, вставая.

Кайн взял листок, пробежал глазами по цифрам, сложил его пополам и убрал в стол — туда, где уже лежала старая пачка сигарет, хрустальный шар и фотография.

— Я провожу вас до поста, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — Здесь легко заблудиться. Коридоры все одинаковые, а указатели рисовал человек, который, по-моему, сам никогда не был в этом крыле.

Анна слабо улыбнулась — впервые за весь разговор.

Улыбка вышла бледной, почти прозрачной, но всё же улыбкой.

Они вышли в коридор.

Коридор был длинным, тускло освещённым, с высокими потолками и стенами, выкрашенными в тот самый казённый «фисташковый» цвет, который от времени и сырости превратился в оттенок вечной усталости. Лампы дневного света гудели под потолком — монотонно, нудно, на одной ноте. Некоторые мигали, создавая рваный, дёрганный ритм, от которого начинала болеть голова.

Пол был устлан линолеумом — серым, с мелким крапом, протёртым до основы в тех местах, где чаще всего ходили. Вдоль стен стояли деревянные скамьи, на которых сидели посетители и пациенты. Одна женщина — пожилая, в выцветшем платке — держала на коленях авоську с апельсинами и смотрела в одну точку на стене. Рядом с ней молодой парень в больничной пижаме раскачивался вперёд-назад, вперёд-назад, и что-то беззвучно шептал губами.

Кайн и Анна шли медленно. Их шаги отдавались в пустом коридоре глухим эхом.

У окна, выходящего во внутренний двор, стояли двое санитаров — крепкие мужчины в мятых голубых халатах. Они о чём-то негромко переговаривались, но при виде Кайна замолчали и кивнули. Кайн ответил коротким кивком.

Окно, у которого они стояли, выходило во внутренний двор больницы — квадрат почти бесцветной травы, готовой

к смерти от предстоящих морозов, окружённый со всех сторон лавочками. Посередине двора росло дерево — старый вяз с голыми, скрюченными ветвями, мокрыми от дождя. На ветке сидела ворона — большая, взъерошенная, — и смотрела в окно, как будто понимала, что происходит внутри.

— Давно вы здесь работаете? — спросила Анна, глядя прямо перед собой.

— Четыре года, — ответил Кайн. — В этом крыле — два. До меня в кабинете, где мы были, работал и лечил мой отец. — вырвалось у него само собой.

— Тоже психиатр?

Кайн кивнул.

— Вы ничего так и не поменяли с тех пор?

— Рука не поднялась..

— И как? — Она не уточнила, что значит «как», но Кайн понял.

— По-разному, — сказал он. — Иногда кажется, что я уже ничего не чувствую. А потом приходит пациент вроде Андориана, и я понимаю, что чувствую. Слишком много чувствую. Это мешает работать, но без этого нельзя.

Они свернули в другое крыло. Здесь было светлее — окна выходили на улицу, и сквозь мутные стёкла пробивался серый ноябрьский свет. На подоконнике сидел пожилой мужчина в больничной пижаме и смотрел на голые ветки деревьев за окном. Он даже не повернул головы, когда они прошли мимо.

Навстречу им попала медсестра — немолодая женщина с усталым лицом и короткими седеющими волосами. Она везла тележку с лекарствами — ряды пузырьков, ампул, бумажных стаканчиков с таблетками, разложенных по ячейкам с номерами палат.

— Добрый день, доктор Торн, — сказала она, замедляя шаг.

— Добрый, Марта, — ответил Кайн. — Как сорок седьмая?

— Тихая, — сказала медсестра, и в её голосе прозвучало то особое беспокойство, с которым в этой больнице говорили о «тихих» пациентах.

— Всю ночь не спал. Сидел на полу, чертил на стене. Мы не стали мешать.

Утром сам лёг, закрыл глаза, но не спал. Лежит, смотрит в потолок.

Кайн кивнул.

— Я зайду перед ночным обходом.

Медсестра покатила тележку дальше. Колёса постукивали по стыкам линолеума — тук-тук, тук-тук.

Анна шла рядом с Кайном, и он чувствовал, как она напряглась при словах «сорок седьмая». Это была палата Андориана.

Они дошли до поста. Это было небольшое помещение, отгороженное от коридора стеклянной перегородкой с окошком для выдачи лекарств и приёма передач. Внутри горе-

ла лампа, стоял старый компьютер с пузатым монитором, на стене висел календарь за прошлый месяц — его забыли перелистнуть. За столом сидела дежурная медсестра — совсем молоденькая, с веснушками на носу и испуганными глазами, какие бывают у всех новеньких в первые месяцы работы.

— Анна Муллис выходит, — сказал Кайн, кивая на свою спутницу. — Отметь в журнале.

Медсестра засуетилась, открыла толстый журнал в клеёночато обложке, записала фамилию и время.

Кайн повернулся к Анне.

Они стояли у стеклянной перегородки, в нескольких шагах от двери, ведущей на лестницу. В коридоре было тихо, только где-то далеко, в другом крыле, слышался чей-то монотонный голос — то ли молитва, то ли бред.

— Две недели, минимум — сказал Кайн. — Если что-то случится, я позвоню и дам знать.

Анна кивнула. Её лицо снова стало маской — бледной, неподвижной, с плотно сжатыми губами. Но в глазах, в самой глубине, ещё теплилось что-то живое.

— Спасибо, доктор Торн, — сказала она. — За всё.

— Пока не за что, — ответил он. — Идите. До встречи.

Анна слабо улыбнулась — снова та же бледная, почти прозрачная улыбка — и пошла к лестнице. Её шаги звучали по линолеуму — тук-тук, тук-тук, — пока не стихли за дверью.

Она спускалась по лестнице, пересчитывая ступени — ещё одна привычка, оставшаяся с тех пор, как она в детстве

ходила в планетарий и считала шаги до звёздного зала. Двадцать три. Двадцать четыре. На двадцать пятой она остановилась и прижалась ладонью к холодной стене. Где-то далеко, в другом городе, на подоконнике её рабочего кабинета остывал недопитый кофе. Она оставила кружку, когда раздался звонок. Свет не выключила. Дверь не заперла на нижний замок. Там, в пустой комнате, сейчас горело окно. И кофе остывал. И это было единственное, что она точно знала о своей жизни за последние полгода: кофе всегда остывает, если ты ждёшь.

Кайн постоял ещё несколько секунд, глядя ей вслед. Потом повернулся и пошёл обратно.

Он шёл медленно, засунув руки в карманы халата. Коридоры были те же, но теперь они казались длиннее. У окна всё так же сидел пожилой мужчина и смотрел на голые ветки. Женщина с авоськой апельсинов всё так же смотрела в одну точку. Молодой парень в пижаме всё так же раскачивался вперёд-назад.

Кайн прошёл мимо них, как проходят мимо пейзажа, к которому давно привык.

Он толкнул дверь своего кабинета, вошёл, закрыл её за собой. В кабинете было тихо и сумрачно. За окном всё так же моросил дождь — серый, бесконечный, ноябрьский. Капли стучали по жестяному отливу, отсчитывая время.

Кайн снял очки, положил их на стол. Потёр глаза — сильно, до цветных кругов. Он чувствовал, как усталость нава-

ливаются на плечи тяжёлым, влажным одеялом. День ещё не кончился, а он уже был пуст.

Он сел в кресло. Оно скрипнуло под ним — старый дерматин, старая пружина, старый звук. Отцовское кресло. Как и всё в этом кабинете. Четыре года назад, после похорон, заведующая сказала: «Торн, переезжай, кабинет пустует». Он переехал и ничего не поменял. Ни пепельницу, которую отец никогда не чистил. Ни фикус, который отец забывал поливать. Ни пятно над дверью, которое отец закрашивал дважды в год, но оно всё равно проступало — как застарелая вина, которую не спрятать.

Кайн не верил в мистику. Но иногда, в тишине этого кабинета, ему казалось, что отец всё ещё здесь. Сидит в углу, курит трубку и слушает.

В груди росло знакомое, почти забытое чувство. Желание. Острое, физическое, как голод или жажда. Он хотел курить.

Кайн выдвинул ящик стола. Там, в самом углу, лежала старая пачка сигарет — «для особых случаев». Он держал её с того самого дня, как бросил. Пачка была смята, целлофан потёрт, но внутри ещё оставались сигареты. Он знал, сколько их там. Семь. Он пересчитывал их каждый раз, когда открывал ящик.

Он смотрел на пачку. Пальцы сами потянулись к ней, коснулись шершавого картона.

И остановились.

Не сегодня.

Отец курил трубку до последнего дня. Даже когда сердце уже отказывало, он говорил: «Кайн, мальчик, не учи меня жить. Я тридцать восемь лет слушаю чужие голоса. Дай мне послушать свой». И затягивался. Кайн бросил после его смерти. Не из принципа. Просто не хотел, чтобы запах отца смешивался с его собственным. Хотел, чтобы тот остался чистым. Узнаваемым. Родным. Он вдохнул — глубоко, всей грудью. Запах был здесь. Всегда здесь.

Он сидел так несколько секунд — рука на пачке, взгляд в стену. Потом медленно, с усилием, убрал руку и задвинул ящик.

Он вздохнул — глубоко, всей грудью, — и взял с края стола папку с историей болезни Андориана Ривена. Тяжёлую, набитую бумагами. Он уже читал её позавчера, вчера и сегодня утром, перед планёркой. Бегло, по диагонали, выхватывая главное: поступление, инцидент, предварительный диагноз. Но там было ещё кое-что. То, что он также бегло пролистнул, случайно зафиксировав одну страницу.

Он открыл папку, перелистнул несколько страниц — заключения, анализы, протоколы осмотров. И из специального отделения на задней стороне папки с надписью «Приложения» достал увесистый дневник с кожаной обложкой. Положил его перед собой, смотря на контуры и долго о чем-то думая. Открыл первую страницу.

Почерк был мелким, убористым, но аккуратным. Так пишут люди, которые ценят каждое слово. Кайн читал эту стра-

ницу утром, но тогда он торопился. Теперь он никуда не спешил. Среди сотни исписанных страниц он точно видел это имя — «Анна». Кайн пробежал каждую страницу только в поисках этого имени. Почерк менялся — от аккуратного, почти чертёжного, к более размашистому, нервному. Где-то чернила были синими, где-то чёрными, где-то красными, где-то — простым карандашом, как будто он писал в темноте, наощупь.

Он нашёл.

Страница была ближе к середине дневника. Кайн узнал её сразу — по единственному слову, написанному крупно, почти на треть листа.

«АННА».

А ниже — текст. Мелкий, убористый, но не такой, как на других страницах. Не технический. Другой. Живой. Дышащий. С мелкими хвостиками после каждого слова.

Кайн поправил очки, пододвинул лампу ближе и начал читать.

«АННА.

Я должен написать это. Должен зафиксировать. Потому что если я не запишу, я боюсь забыть, что чувствовал. А если я забуду, я потеряю её навсегда.

Она пришла в обсерваторию чинить старый телескоп, который сломался ещё до моего рождения, кажется. Я сидел в башне, смотрел в окуляр и злился на весь мир, потому что Луну закрыли облака. А она вошла —

без стука, без разрешения, — и сказала: «Это вы тут главный по небу? Мне сказали, вы можете помочь с фокусировкой».

Я обернулся. Она стояла в дверях — в рабочем комбинезоне, с отвёрткой в руке. Волосы собраны в небрежный пучок. Глаза — каресерые, как лунный грунт. Я посмотрел на неё и забыл, зачем злился.

Она чинила телескоп, а я смотрел, как она работает. У неё были тонкие, ловкие пальцы — пальцы инженера. Она что-то подкручивала, что-то протирала, что-то измеряла прибором, названия которого я не могу выговорить. И всё это время она говорила. О звёздах. О том, что в детстве хотела стать космонавтом, но выросла и поняла, что космос — это не только ракеты, но и оптика, механика, линзы, зеркала. «Космос начинается здесь, — сказала она, постучав пальцем по корпусу телескопа. — Всё остальное — просто расстояние».

Я почувствовал нечто в тот самый момент. Не когда она вошла.

Когда она сказала эту фразу.

Кайн закрыл дневник.

В кабинете было тихо. Дождь за окном закончился. Он сидел, положив руку на кожаную обложку, и думал о человеке, который написал эти строки. О женщине, которая только что ушла, оставив свой номер, вдруг желая увидеть владельца дневника спустя целых полгода. О Луне, которая ви-

села где-то за серыми облаками, невидимая, но всегда присутствующая.

Торн выдвинул ящик стола и с удивлением опустил взгляд на хрустальный шар. Луч серого света упал прямо в его центр, отчего Луна внутри засияла.

«Я посмотрел на неё и забыл, зачем злился...»

Он перечитал эту страницу дважды. Потом — ещё раз. Что-то в ней цепляло. Не умом — чутьём. С точки зрения психиатрии здесь не было ничего примечательного: пациент описывает встречу, фиксирует эмоции, использует образный язык. Обычное дело. Многие больные ведут дневники. Многие пишут о любви. Это не симптом. Это просто жизнь, про-бывающаяся сквозь болезнь.

Но была в этой записи какая-то ясность. Как будто на мгновение Ривен перестал быть пациентом и стал просто человеком. Вспомнил.

Прочувствовал. Записал. А потом снова ушёл в свою Луну.

Кайн откинулся на спинку кресла. Снял очки, потёр переносицу. Он думал о том, как часто за четыре года практики он ставил диагнозы. Параноидная шизофрения. Биполярное расстройство. Диссоциация. Слова, которые должны объяснять. А на деле — только отгораживают. Ты — больной. Я — здоровый. Ты — там, за чертой. Я — здесь, в белом халате. Так проще. Так учили. Так написано в учебниках.

Но сегодня что-то пошло не так.

Может, дело было в Анне. В том, как она держала шар — обеими руками, как птенца. Как сказала: «Он просто устал ждать, когда мы посмотрим вверх». Может, дело было в дневнике. В этом летящем почерке, который становился то аккуратным, то рваным — как будто на бумагу выплёскивалось нечто, чему нет названия в медицинских словарях. А может, дело было в нём самом.

Он думал об отце. Что бы он сказал, увидев дневник Ривена? «Торн, не лезь в душу, у нас протокол, у нас анализы, у нас ответственность». Или наоборот — взял бы дневник, пролистал, хмыкнул и сказал: «Читай, сынок. Внимательно читай. Между строк — всё, что нужно». Кайн уже не мог спросить. Отец был мёртв. Оставил после себя этот кабинет как своё наследие.

Он думал о девушке. О той ночи, когда она сказала: «Мне страшно терять тебя, но другого не остаётся». И он, молодой врач, только начинающий практику, ответил: «Всё будет хорошо. Я рядом». Он соврал. Не специально. Он правда верил, что всё исправит. Что диагноз — это план действий. Что протокол — это спасательный круг. А жизнь — она другая. Она не укладывается в схемы.

Он выдвинул ящик до конца, взял шар. Покрутил в пальцах. Холодный. Тяжёлый. Настоящий.

— Андориан Ривен. Что же с тобой происходит? — Кайн даже не заметил, как сказал это вслух, тихо, шёпотом, в пустоту кабинета. Пустота не ответила. Она никогда не отве-

чала. Голос прозвучал странно — не как врачебный запрос, а как человеческий вопрос. Вопрос, на который нет ответа ни в одном учебнике. Вопрос, который он сам себе задавал, когда сидел у постели девушки и не мог помочь. Вопрос, который он заглушал работой, протоколами, этим вот креслом, этим вот кабинетом, этой пачкой сигарет. Он мог продолжить читать его дневник, узнавая подробности, но время подходило к вечернему обходу.

Кайн встал. Подошёл к окну. За мутным стеклом не было видно ничего — только размытые огни фонарей внизу, на больничном дворе, и мокрые ветки старого вяза.

Где-то там, за облаками, висела Луна.

А где-то в палате №47, на четвёртом этаже, сидел на полу человек, который чертил пальцем траекторию полёта к ней. И ждал. Непонятно чего. Или кого.

Кайн постоял так ещё минуту. Потом погасил лампу и вышел в коридор. В голове — ни протокола, ни диагноза. Только строчка из дневника, засевшая занозой: «Космос начинается здесь. Всё остальное — просто расстояние». И ещё — лицо Анны. То, как она смотрела на него, когда он сказал: «Две недели». Не с обидой. С надеждой. Как будто он дал ей не запрет, а обещание.

А где-то в другом городе, в своей квартире на подоконнике сидела Анна Муллис и, возможно, тоже смотрела в окно. И думала о человеке, которого увидит через две недели. Она не заметила, как мужская рука коснулась её плеча.

— Дорогая, где ты была? Мне звонили с твоей работы раз шесть. Тебя искали и просили к телефону. Что-то случилось? Выглядишь сильно уставшей...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.